

Майя Каганская (Иерусалим)

ПАМЯТИ «ПАМЯТИ ДЕМОНА». ЧЕРНОВИК ПРОЩАНЬЯ

“Генделев и Лермонтов” — это не тема, это родословная по материнской линии, той самой, где молоко впитывают с поэзией. Что ж до отцовской ветви, то Лермонтов для Генделева почти что Отец небесный, “близнец в тучах”, покровитель, страж, ангел-хранитель.

А вот для Мандельштама, тоже Генделеву не чужого, Лермонтов — “мучитель наш”. “Наш” — это нас, поэтов, мучитель. О чем есть свидетельство:

И за Лермонтова Михаила
Я отдам себе строгий отчет,
Как горбатого учит могила
И воздушная яма влечет.

Прекрасно сказано, но — не мучительно. И у Блока стихи о Демоне прекрасные — на то он и Блок! — вот только его Демон — оперный, не по Лермонтову, а по Антону Рубинштейну; и декоративный, по Врубелю. (Типа: “...тень Данте с профилем орлиным...”, над которой иронизировал Мандельштам.)

Вспомним и панибратские, нет, выражусь по-старинному: амикошонские, — стихи Маяковского, где томная возлюбленная Демона, княжна Тамара, подменена кровожадной эротоманкой царицей Тамарой (психологическая осечка: не стал бы Демон влюбляться в свое подобие в юбке!), зато Лермонтов отлучен от Демона и персонально приглашен в гости: “К нам Лермонтов сходит, презрев времена”. (В советские времена советские школьники писали сочинение “по Лермонтову” под этим именно названием, в кавычках и с указанием автора (в скобках). Надо было сильно изловчиться, чтобы показать, что действительно “сходит”, а также “куда?” и — “зачем?”. Очень развивало комбинаторные способности ума.)

Русская поэзия, страшно далекая от пацифизма, немало гордилась боевым офицерством поэта. “За грусть и желчь в своем лице, кипенья желтых рек достоин, он, как поэт и офицер, был пулей друга успокоен” (Есенин).

Слабее всех в лермонтовской теме отметился Пастернак: “Памяти Демона” — стихи из гимназической тетради, вялые и вообще не по делу.

А дело было, лермонтовское дело, и было оно — “мокрое”: в бытность свою офицером действующей на Кавказе русской армии (поручик Тенгинского казачьего полка) Лермонтов добровольно вместе с рядовыми казаками ходил в разведку в чеченские аулы.

Только “языка” в той разведке не брали — его вырезали вместе с носителем. Массово. Крупномасштабно. Поэт отличался хладнокровной храбростью и непомерной жестокостью.

Сегодня, по всем международным законам, он был бы судим за военные преступления.

Впрочем, не дождалась Гаагского трибунала, и без оглядки на собрание сочинений Михаила Юрьевича офицерское собрание его полка выразило поэту презрительное отвращение и потребовало от начальства, чтобы его от них убрали.

Так что строка строфы второй: “мадам да он мясник мадам”, минус “мадам”, — это, в сущности, возможная цитата из протокольно-штабных реляций¹. Сей прискорбный факт

¹ Или реплика Грушницкого в разговоре со столичной барыней, чтобы отвадить ее от Печорина.

истории русской литературы известен давно, но, так сказать, архивно, келейно, без “права выноса”.

Из живой литературы (собрания сочинений, биографии, учебники, критика, комментарии) факт выведен, как выводят пятна. Еще бы! Такое пятно на серафических ризах русской поэзии!

Генделев впервые и первый осмелился восстановить пятно в его законных правах и тем развернул русское поэтическое сознание лицом к мрачной бездне наслаждения в бою.

Он сам ходил по ее краю еще со времен той, первой Ливанской войны, да и потом то и дело через край заглядывал: “Ну, а я у бездны на краю с краю на атасе постою...” Открылась бездна: строфу первую “Памяти Демона” следовало бы не развернуть крыльями любимой Генделевым бабочки, а — свернуть на манер змеи: до того гремуча и ядовита:

Какзмея учат молокутакзмеи любят молоконов молоке перед грозой скисает жалогюрзу
тенгинского полкавспоила смерть его строкужелезным ржавым молокомне отпускала от
грудине удержала.

Языковая прокладка строфы ясна: идиома “пригреть змею на своей груди”, в смысле — кормящей груди, притом кормящей неосмотрительно: ведь ужалит.

Да вот только: чья грудь? Кто вспоил-вскормил? Конечно, Пушкин, кто ж еще? “...И вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрыя змеи в уста замершие мои вложил десницею кровавой”.

Этот классический дуэт так давно спелся, что звучит как соло: одна на двоих смертельная дуэль, на каждого — по “пророку”, у каждого — по Демону, Пушкин, правда, уточняет: “Мой демон”, а Лермонтову и уточнять не надо, и так все ясно: притяжательное местоимение “мой” переведено в личное: “я”. Отныне для всех навсегда.

Дуэт, впрочем, изначально распался на два голоса: ведь лермонтовский “Пророк” жалит пушкинского, а “Демон” во сто крат окрыленной “Моего демона”.

Во всех мифологиях змеи хитры и мудры, но только в одной, библейской, змей еще и искуситель, погубитель, враг рода человеческого и его творца в ходе дальнейшей эволюции — Сатана. Падший ангел.

Пресмыкающемуся уготована судьба пернатого, рожденный ползать может и будет летать! (Занятно: мифологическая эволюция соответствует принятой сегодня научной теории эволюции: птицы родом из гадов.)

...Однажды встретил меня приплясывая от возбуждения руками:

— Наконец-то! Разгадал загадку “Паруса”, с детства зацепило...

Я (резонно):

— Какая загадка? “Парус” чист и свеж, как Евтушенко.

— Да?! А где расположился наблюдатель, распределяющий пространство? “Под ним”, “над ним” и кто это — “ним”?

— “Ним”, — отвечаю, — это и есть парус, под ним — “струя”, то есть море, над ним “луч солнца”, то есть — небо. Элементарно.

— Да нет же!.. Стих держится на пространственных оппозициях: “над” — “под” — это вертикаль, “страна далекая” — “край родной” — это горизонталь. В целом: конфигурация креста. В центре, где-то в эфире, парит некто, раскинувший по краям креста руки. Или крылья. Видел собственными глазами. Сегодня, во сне...

Соглашаюсь незамедлительно: сон поэта надежней и предпочтительней пророческого, пророческий — то ли будет, то ли нет, а стих не нуждается в будущем, он весь — здесь²

² Как на ладони, как смятая постель...

навсегда, если, конечно, взят из запасников вечности. (См.: “Сон” Лермонтова, “Памяти демона” Генделева.)

...Под напором генделевской литературной злости — не тот это язык! и грамматика не та! — язык “раскалывается” и выдает секреты, о которых сам не подозревал. Например, переход орфоэпии на сторону семантики.

Строка строфы первой “гюрзу тенгинского полка” подготовлена виварием предыдущих строк, тем более что в змеином семействе гюрза славится своей смертельной и быстро действующей ядовитостью (“...вспоила смерть его строку...”).

Если же вслушаться пристальней, “гюрза” образует внутреннюю ассонансную рифму со словом “гусар” (что естественней? “...гусар тенгинского полка”): на те же пять букв приходится по два слога, те же опорные звуки: “г”, “у-ю”, “р”, “а” в запасе.

От Кисловодска кислых вод до Кисловодска кислых дев (“шармер на водах кислых дев”) всего две перестановки (“вод” — “дов” — “дев”), но их хватило, чтобы к серному источнику строфы седьмой слетелись “пэри” со всей поэтической округи, от Пушкина до Мандельштама:

Не плачьте пэри!молокомне кормят змея на душе не плачьте Мэрине’ о кому же не стоит петь рыдать стихи и плакать.

Героиня строфы “пэри Мэри” — не одна, ее вереница: княжна Мэри “Героя...”, “задумчивая Мэри” “Пира”, “милая Мэри” — “пью за здравие Мэри, милой Мэри моей”, до залихватской Мэри: “Пей коктейли, ангел Мэри, дуй вино!..”

Опять же: плач, слезы...

После жестокосердого лермонтовского пожелания: “...пускай она поплачет, ей ничего не значит”, генделевское: “Не плачьте Мэри” — это не столько великодушное послабление, сколько постскриптум отсутствия в составе отрицательной частицы, предлога и местоимения: “не’ о ком”. Но в стихе эта грамматически обычная раздельность произносится как одно слово: “неоком”. Местоимение, не имеющее места.

...Я бы хотела составить антологию избранных сравнений русской поэзии. Я бы открыла ее пушкинским “...Нева металась как больной в своей постели беспокойной”, а завершила бы генделевским: “озноб как мальчик казачок бежал висеть на удилах его словесности”.

Я хотела бы завидовать внукам и правнукам, если бы надеялась, что в средних классах ихних средних школ они, “проходя” Лермонтова, заучивали бы наизусть “Памяти Демона” наряду и наравне с “Парусом”, “Сном” или “Выхожу один я на дорогу...”. Чтобы у них в одной и той же клеточке еще не закосневшей памяти лермонтовский боевой клич: “Смирись, Кавказ! Идет Ермолов...” читался на одном дыхании с генделевской строкой о Лермонтове: “...вцепившийся как бультерьер в хребет Кавказу...”

Не знаю, были бы эти неосуществимые школьники в подвопросном будущем лучше или хуже своих предшественников, но они наверняка были бы сложнее. А значит — лучше, в наших постобществах чем сложнее становятся средства связи, тем элементарней те, кого они связывают... Нас губит простота, как будто эволюция личности дала задний ход³.

Последней книгой, которую Генделев читал, была “Краткая история времени” Стивена Хокинга. Увлёкся, жаловался, что тяжело, от всей души завидовал физикам и математикам. И не напрасно: именно в “Истории времени” припрятан ключ к поэтике Генделева, нет, даже не к поэтике, а к тем внесловесным, внеречевым представлениям, к той императивной воле, что продиктовала мир его стихов: “...время не отделено от

³ Как это было сказано еще до начала нашей эры? “Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту”. Вот именно: к концу, только не собственному — всеобщему.

пространства, но вместе с тем образует единый объект” (Хокинг. “Краткая история времени”).

Что Михаил Генделев всецело принадлежит русской поэтической речи как ее законный со-владелец и со-участник — очевидно. Не спорить же с очевидностью.

Но: до последнего дня, до последнего вдоха без выдоха он именовал себя пишущим по-русски израильским поэтом, и его каменная усыпальница в Иерусалиме — лишь последний жест этого самоопределения вплоть до отделения.

...Давным-давно-предавно Генделев оставил и отставил не столько Россию Брежнева, сколько Ленинград Бродского. Чтобы не прохладиться в его неотступной тени, чем, собственно, и ублажалась ленинградская послебродская поэзия, — Генделев выбрал дикое необъезженное солнце Палестины.

Найти себе место под таким солнцем — значит остановить его. И Генделев это сделал.

Как поэт Генделев не обязан Израилю — государству, культуре, народу — абсолютно ничем, но: как поэт — обязан абсолютно всем самому факту его существования. Чистая феноменология, без стройматериала и стропил языка, традиции, преданий.

Другого такого примера я не знаю ни в русской, ни в мировой поэзии.

Генделев не принадлежит Израилю — зато Израиль принадлежит ему по праву завоевателя.

Израиль с козырным тузом Иерусалима в руках стал первым пространством, распахнувшим перед Генделевым другое измерение времени.

Второе открыла война, первая Ливанская... По ее следам начали пасьянсом раскладывать территории, не колонизированные ни русским штыком, ни русским пером: Междуречье с приложением штабной карты рая, Тигр, Сидон, Вавилон, Дамур... Нет, не историческая и даже не доисторическая родина, вообще — не история, но: околородные воды, в которых эмбрион истории вызревает, чтобы потом с ней умереть: “Отхлыньте каменные воды от ледяных берегов реки где бывшие сидят народы посмертно свесив языки”.

Из похода на ту сторону реки (Литани, времени — все равно) в качестве боевого трофея, как добытую в бою полонянку, Генделев вывез главную достопримечательность и гордость здешних мест — Бога. Он же Элохим, он же Адонай, он же Аллах, короче: Господь.

И с Ним Генделев больше не расстается.

Что это? Вера? — прочерк. Атеизм? — дешевка. Богоборчество? Не в счет: XIX век, романтики — безграмотно. Уместней прочего формула Борхеса: “Я в Бога не верю, но очень им интересуюсь”.

В пересчете на Генделева необходимо уточнение: “только им интересуюсь”. Он — не лирический герой, не — Боже, упаси! — alter ego, не сотрапезник в диалоге, не божественное “ты”, собеседующее с человеческим “я”, не “мать всех метафор” или “отец всех тропов”, как выразились бы арабы на своем шербетном поэтическом щебете. Нет, Он — оппонент, противник, соперник.

У Генделева такое же сопротивление поэтике Вседержителя, как поэтике Бродского, Пастернака, а напоследок — и Мандельштама. Только еще более неукротимое и жестоковыйное, пропорционально мощи и популярности творца.

“...И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог, что свет хорош”.

Вот вам не “Бродский, хуй уродский” (всегда коробило), — тут такой фаллос, что похлеще всякого логоса.

Верно и обратное: “И отделил Бог свет от тьмы и увидел Бог, что это хорошо”.

А Генделев в ответ: нет, не хорошо, потому что не получилось, потому что: “тьма это тьма а не где-то заблудший огонь повтори: не свет не отсутствие света и не ожиданье зари”.

Или: “...есть война не мир обратный но мир в котором все как есть и будет далее и доколе...”

Или: “О! Не объяснится несчастье отсутствием счастья, ничуть...”

По генделевской подсказке ряд продолжается естественно и необходимо: зло — это зло, а не отсутствие добра и не его ожидание, а смерть — это не жизни мир обратный, а мир, в котором все как есть.

Мадам, да он бретер, мадам! Не упустит случая, чтобы не бросить боксерскую перчатку в каждое из первых трех лиц пресвятой монотеистической троицы — иудаизм, христианство, ислам... Смотри: “Спор Михаэля бен Шмуэля из Иерусалима с Господом Богом нашим...” в книге “Любовь война и смерть в воспоминаниях современника”, страницы со 126-й по 136-ю читаются справа налево...

И на общее всем трем лицам выражение тоже замахнулся: “Я верил бы в бессмертие души да две метафоры перегружают строчку...”

Генделевскими занятиями теологией еще предстоит заняться всерьез и подробно, они куда неотложней “Занятий философией” Пастернака, потому что актуальней. Как и вообще теология актуальней философии, и ходить ей у теологии в служанках.

...Можно ли представить себе, чтобы, скажем, Первая мировая война предшествовала Троянской?..

Можно, а в истории времени, по Генделеву, даже необходимо: ведь у него первая Ливанская случилась вначале, а лермонтовская чеченская — потом, а то и вследствие...

Из русской провинциальной глубинки XIX века, из исторического арьергарда чеченская война вырвалась на оперативный простор, в авангард XXI века. Потому что: джихад. Потому что: Аллах Акбар.

Время больше нельзя сверять ни по Гринвичу, ни по Гамлету — оно не вывернуло сустав. Что сустав? Вправить его обратно — пустяковая работа для полкового лекаря, каким и был на войне Генделев. Но в Ливане, в “садах Аллаха”, он наступил на время, свернувшееся удавом: то кольца, близкие к хвосту, перемещаются к голове, то головные ползут обратно...

Многолетняя свара Генделева с Бродским наконец-то завершена, как и положено завершаться любой сваре, — смертью.

Только похоронены они в противоположных концах времени (“коемуждо по времени его”): Бродский — в уютном XIX веке, на его самом престижном кладбище — в Венеции, Генделев — в XXI, в Иерусалиме, где время то ли дало течь, то ли начало обратный отсчет.

...На тропу Ливанской войны Генделев вышел без огневого прикрытия русской поэзии, один, но не в одиночестве, а с Лермонтовым. (Как, впрочем, один, но не одинок был и Лермонтов на своей дороге — пустыня внимала Богу, переговаривались звезды — уже трое.)

Лермонтов помог Генделеву спуститься с вершин Кавказа “в долины лунные Ливана” и перебраться из долины Афганистана на дно вади Бекаа: “...на дне вади Бекаа в полдневный жар во всю шахну Афганистана”, и все для того, чтобы досмотреть тот же полдневный сон: “смерть это такой сон что снится себе сам”.

Мне бы хотелось, чтобы сегодня Михаила Лермонтова читали в обратной перспективе, после Михаила Генделева, как в прямой читают Пушкина после Державина, как, по генделевскому же слову, конец летальный предшествует зачатию.

Был период, когда Генделев и в Израиле, и в России увлеченно и успешно занимался политологией: печатали, платили, читали. Но я, признаться, его политологических штудий не люблю, его настоящая политология — это его поэзия, в ней, и только в ней, он открыл доставшееся нам время как век очнувшегося от смертной одури Бога и войн во славу его, религиозных боен.

Вообще же проза Генделева относится к его стихам примерно так, как стихи Набокова к его прозе: не то чтобы плохо, но можно и без них.

Впрочем, один прозаический шедевр у Генделева все же имеется — это его кулинария. Кто-то мне пожаловался, что попробовал воплотить в жизнь один из особо аппетитных рецептов Генделева, но — безрезультатно.

Еще чего!.. Все равно, что недоумевать, почему суп из хвоста русалки получается хуже, чем из плавников акулы.

...Генделев был человек застолья, хозяин радушный и хлебосольный, и дом был полная чаша, но: как поэт он в высшей степени негостеприимен. Чтобы до него достучаться, нужны усилия, и немалые. Здесь не то что не пушкинский дом, но даже не пастернаковское Переделкино, куда уже много десятилетий подряд гости, забыв былую недоступность владельца, съезжаются на дачу.

Тем не менее нынешний русскоязычный стихолоб, искушенный золотым и серебряным веками русской поэзии — причем еще непонятно, какой из них какой, — и тем, что было в промежутке и после, к поэтике Генделева, если захочет, — пробьется. Не помешают ни причудливое строение тропа, ни подрыв грамматических устоев русского языка, ни визуальные капризы. Загвоздка в другом: Генделев возмутительно, пугающе — как это говорится? — неполиткорректен, он — “древней неземной работы”: эпическое чувство войны и никакого чувства вины (“...зубами выговорить в кислород желание Война...”), эпическое чувство врага, не трусливый “образ врага”, как фанерная мишень в тире, — а врага настоящего, кровного, насмерть (“...до отсохнет моя правая до курка”), неслыханный для нас этос эпоса — уважение к врагу как равному в смерти (“...и мы и эти состоим из фосфора, души и меда железа и одной свободы, что так недосыта двоим”).

Кто еще, кроме Генделева, на каком угодно языке мог бы протрубить оду в честь военной победы (“Ода на взятие Тира и Сидона”) и обрядать поражение израильской армии в “Церемониальном марше”?

И в русскоязычном Израиле, и в России читателей и почитателей Генделева достаточно, чтобы наполнить залы приличной вместимости. Плохо с акустикой: в современной русской поэзии он ни с кем не перезванивается — не с кем. Об ивритоязычной и говорить не приходится: это настолько разные ветви культурной эволюции, что даже не оспаривают одно экологическое пространство.

Конечно, “Памяти Демона” — гениальные стихи. Но как быть с их адресатом теперь, когда жало в мешке уже не утаить? (И как быть с тем, кто это жало выпустил и, без тени смущения, продолжает любить не поэта-демона, а поэта-мясника с такой нежностью, как дай вам Бог?)

...В самую последнюю встречу, когда Миша чувствовал себя не плохо, а очень плохо, да и я была не подарок, мы успели переговорить об актуальном. Не о смерти — что было бы “противунравственно” и дурной тон, — да и что о ней скажешь?

Нет, обсуждали некролог. Является ли он литературным жанром? Согласились: да, является. А если жанр, у него должны быть свои вершины. И они есть. Припомнили плач Чуковского по Блоку — лучшее, что автор “Айболита” написал в прозе для взрослых. Я упомянула несравненный текст Андрея Платонова на смерть знаменитого пародиста Александра Архангельского: некролог-пародия. Кто б еще, кроме Платонова, на такое осмелился? Миша не читал, взялась раздобыть.

И все-таки сошлись на том, что лермонтовский некролог Пушкину — называется “Смерть поэта” — это пик жанра, через который еще никому не удалось перемахнуть. Не стихи — они поистрепались, да и изначально были не очень⁴.

⁴ Позиция — вот что восхищает.

На границах каждого жанра неспокойно: роману угрожает действительность, любовной лирике — любовь, некрологу угрожает дифирамб — из-за нашего низкопоклонства перед смертью, приторный запах притираний бюро ритуальных услуг.

Лермонтов вытеснил дифирамб инвективой, надавал оплеух власти за ее власть над смертью. Власть, впрочем, тоже повела себя достойно: не лицемерила в угоду христианскому добронравию, но отмазала грубо, прямо, по-солдатски: “Собаке собачья смерть”.

Такой вот тронный некролог, как бывает тронная речь.

В неостывшей жажде мести за Лермонтова Михаила Михаил Генделев царскую речь смял и снял:

а смерть что смертьюнаего лицо лизала как собака.

Не Лермонтов — собака, это его смерть собакой приползла и припала к хозяину: “Над офицериком салют”.

...До входной двери от силы один-два метра. Миша провожает меня, хватаясь за уходящий воздух и уступы мебели, как за переборки во время качки. На прощанье брюзгливо, шерстяным голосом — потому что заранее знает ответ — осведомляется, в каком состоянии моя рецензия на его последнюю книгу, — был такой уговор.

И я неосторожно, в высшей степени неосторожно — ведь нас подслушивают, — пообещала: “Даю слово: вы не умрете раньше, чем прочитаете мою статью”.

Он умер раньше. Слово за мной.